

[...рецензия]...

УДК 002:008
ББК 78.01**Е.А. ПЛЕШКЕВИЧ****ДОКУМЕНТ И ДОКУМЕНТНОСТЬ В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ**

Рецензия на сборник статей «Статус документа: Окончательная бумажка или отчужденное свидетельство?».

Ключевые слова: документ, статус документа, документность, достоверность, культура, социологическая теория документа, литературность, архивы идентичности.

К числу важнейших социокультурных феноменов современности относится документ, без которого человеку, по меткому выражению булгаковского героя, «строго воспрещается существовать». Многоаспектность и высокая социальная значимость документа как такового сделала его объектом научного изучения. Суммируя многообразные подходы к изучению документа, условно можно выделить два основных направления. Первое, прикладное направление, нацелено преимущественно на исследование технологических и методических аспектов создания и использования управленческих документов в делопроизводстве и архивном деле. Второе направление теоретическое, связанное с необходимостью раскрытия информационно-документальной природы библиотечно-библиографической и научно-информационной деятельности. Это направление реализуется преимущественно в информатике и библиотечно-библиографических дисциплинах.

В рамках современных представлений о природе документа сосуществуют две полярные теоретико-методологические конструкции. Во многом, как представляется, это вызвано асоциальностью теоретико-методологических построений, не учитывающих, что феномен документа есть продукт определенных социальных и культурных отношений, без раскрытия которых он так и останется terra incognita.

Одним из первых шагов, направленных на преодоление одностороннего видения документа, стал исследовательский проект «Статус документа в современной культуре: теоретические проблемы и российские практики», реализованный в Институте гуманитарных историко-теоретических исследований им. А.В. Полетаева Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 2009—2012 годах. В проекте приняло участие 19 ученых трех стран (Россия, Австралия, США), а его результаты были оформлены в виде сборника статей, подготовленного И.М. Каспэ (НИУ ВШЭ, Москва) [1]. Сборник состоит из предисловия редактора и семнадцати статей, тематически объединенных в четыре раздела: «Официальный документ: удостоверение и фальсификация власти»,

«Удостоверение памяти — исторической, персональной, медийной», «Удостоверение причастности: документ и литература», «Приложение. Очерки документности».

Рамки рецензии не позволяют подробно остановиться на каждой из статей сборника. В этой связи внимание будет обращено прежде всего на ключевые статьи, отражающие направленность, которая задана проектом и подробно раскрыта в предисловии редактора.

Методологические аспекты социокультурного исследования документа сформулированы в предисловии. И.М. Каспэ подчеркивает, что акцент был сделан на исследовании социального статуса документа, культурных представлений о нем и того коммуникативного эффекта, который он производит. Терминологически эту направленность исследования предлагается отграничить от уже сложившихся введением нового термина «документность», обозначающего то качество объекта, благодаря которому в различных дискурсивных и социальных практиках объект определяется как документ. В основу авторского неологизма было положено понятие «литературность», предложенное Романом Якобсоном в целях обозначения того качества текста, который признается принадлежащим к литературе. В той или иной степени этот термин использовался всеми участниками проекта и последовательно раскрывался. По мнению одного из участников проекта, Галины Орловой¹, термин «документность» должен в первую очередь указывать на культурные порядки, социальные позиции и коммуникативный эффект документа, а не только на его форму и функции, и тем самым отграничивать документ от сложившихся представлений о *документальности* и *документалистике* [1, с. 20].

Основу социокультурной трактовки документа составили идеи американского социолога Дэвида Леви [2], который считал, что документ становится видимым лишь тогда, когда в поле зрения попадает «среда, в которой он функционирует». Опираясь на этот тезис, И. Каспэ делает

¹ Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону.

вывод о том, что, во-первых, статус документа присваивается теми или иными институтами, а во-вторых, он закрепляется при помощи специальных маркеров. В-третьих, навык, позволяющий распознать и прочесть нечто как документ, поддерживается определенным набором культурных норм. В итоге, заключает автор, вышеуказанные институты, маркеры и нормы «и есть то, из чего “делается” документ и что нуждается в изучении» [1, с. 6].

Другое положение Леви связано с определением документа как «говорящей вещи», материального объекта, наделенного репрезентативной функцией, представляющей то, чем он не является. Опираясь на это и ряд других положений социологии коммуникаций, Ирина Каспэ формулирует собственные «предварительные наметки и исходные гипотезы», раскрывающие представления о документе как объекте культурологического исследования. Документ, по ее мнению, репрезентирует нас (наше знание, опыт, память или личность как таковую) в социальном мире, благодаря своей способности к *удостоверению*. Следовательно, заключает автор, документ как посредник необходим в ситуациях, когда «прямые» механизмы персонального межличностного доверия не работают или ставятся под сомнение. В итоге ответить на вопрос: что такое документ? можно, лишь ответив на другой вопрос: что именно он удостоверяет в том или ином конкретном случае [1, с. 8]. Таким образом, функции документа заключаются не только в передаче информации, но и в выстраивании социального «Я», социальных связей, социальной общности и в итоге — социальной реальности.

Анализируя данные методологические представления о документе, можно отметить, что они носят инверсионный характер, заключающийся в исследовании документа на основе порожденной им социальной и культурной среды, включающей институты, маркеры и нормы. В итоге одним из предметов познания выступает «документность» современного общества, заключающаяся в том, что общественные представления о процессах и явлениях, заслуживающие максимального доверия, наделяются статусом документа.

Что касается теоретико-методологических подходов в других дисциплинах, то они иные. В архивоведении и документоведении исследования направлены на сложившиеся в делопроизводстве и архивном деле онтологические формы документа. При этом статус документа в них обусловлен организацией документа, его формуляром, состоящим из реквизитов. В информатике и библиотечно-библиографических дисциплинах статус документа конструируется искусственно в рамках теоретических построений. Иногда статусом документа наделяется любая информация, закрепленная на материальном носителе с целью дальнейшего использования (П. Отле, С. Брие, О.П. Коршунов, Ю.Н. Столяров, М. Баклэнд). В этом случае статус документа практически не отличается от статуса информационного объекта. В другом случае статусом документа наделяются информационные объекты, достоверность которых обеспечивается деятельностью таких институтов, как службы делопроизводства, архивы, би-

блиотеки и т. д. (Е.А. Плешкевич). Несмотря на отличия данных подходов в целом статус документа в их рамках трактуется вне контекста общественных представлений о документе, иными словами без учета документности. Даже беглое сравнение свидетельствует, что подход, предложенный И. Каспэ, оригинален и позволяет взглянуть на документ с нового, как представляется, крайне важного ракурса, что подтверждается материалами данного сборника.

В статье Г. Орловой «Изобретая документ: бумажная траектория российской канцелярии» объектом исследования выбран канцелярский документ, вернее «культурный порядок» его производства, вступая в который уже невозможно провести различие между письмом и административным действием. Так автор прослеживает дискурсивные траектории, по которым происходило конструирование российской канцелярской документности в XVIII — XIX веках [1, с. 20].

Построение культурного порядка Г. Орлова начинается с этимологического анализа термина «документ», отмечая доказательный, удостоверительный характер его содержания, который, по ее меткому выражению, призван выражать «сгущенную убедительность». При этом доказательный дискурс документа, если так можно выразиться, соотносится автором с дискурсами административной управляемости дела и бумаги — термины, широко использовавшиеся в канцелярской практике в тот исторический период.

По мнению Г. Орловой, фактором, определившим траекторию развития канцелярской документности в высших центральных органах власти, стало постоянное повышение статуса канцелярских работ. На первом этапе это случилось благодаря введению коллегиального делопроизводства в 1720 году, закрепившего обязательный перевод большинства административных действий в письменный формат, а затем и переходу к министерскому унифицированному делопроизводству (1811), обеспечившему интенсификацию бюрократической власти, чувствительной к деталям, и, как следствие, повышение значимости отдельных письменных операций в системе государственного управления. В итоге понятия «письмоводство» и «гражданская служба», по мнению автора, становятся тождественными. При этом устанавливается режим тотального бумажного опосредования административной активности, в рамках которого «управлять» означало «составлять бумаги» и наоборот. При этом возникает необходимость закрепления данной ситуации на терминологическом уровне, что в перспективе достигается заменой термина «бумага», характеризующего письменную запись вспомогательного характера, термином «документ», олицетворяющим письменное управленческое решение.

Г. Орлова считает, что формирование «культурного порядка производства документа» связано с введением формуляра и с включенностью в документооборот. Документ, подчеркивает автор, рождается в тот момент, когда бумага, обладающая всеми необходимыми достоинствами (составленный с соблюдением формуляра. — Е.П.), включается

в бюрократическую коммуникацию, то есть принимается к производству — вносится в журнал, снабжается регистрационным индексом, украшается визами, укрепляется печатями и пускается по ведомственной цепочке. Тут-то она и становится "настоящей"» [1, с. 42—43].

Однако на практике очень скоро становится очевидным, что документ сам по себе достаточно плохо справляется с функций удостоверения управленческого решения. Правда ли, что Н уволили «по собственному желанию»; в самом ли деле все участники заседания «слушали и постановили», как то значится в протоколе [1, с. 37]? Ориентированный на приоритет письма, продолжает Г. Орлова, документ не столько подтверждает реальность референта, находящегося где-то за пределами бумажного листа, сколько производит самодостаточную и герметическую реальность документной записи. Причины этого в том, что бюрократическая власть, объективированная в документальных практиках, создавала возможность для языковых экспериментов с реальностью: исчезновение слова было тождественно исчезновению объекта (и наоборот), а многие административные проекты просто не выходили за пределы лингвистических манипуляций. Другой причиной этого, по мнению автора, стал «темный слог» канцелярского формуляра, затрудняющий проверку и даже элементарное понимание написанного.

Итогом развития российской канцелярии в XVIII—XIX веках, по мнению Г. Орловой, была стандартизация административных действий, создание типологии ситуаций, выработка концептуальных схем и интерпретационных клише, ставших тем дискурсивным материалом, из которого конструировалась рациональная, претендующая на объективность тотальность и единообразие действий, канцелярская документность [1, с. 50—51]. Один из чиновников, сравнивая свою службу до введения Общего учреждения министерств и после него, отмечал: «Вообще-то дела велись патриархально, по-отечески, может быть, и не особенно разумно, но человечнее, нежели ведутся ныне» [1, с. 47]. В результате произошел переход от повествования к трафарету, канцелярские универсалии были распространены на всё многообразие социальных реалий, имела место деперсонализация управления, когда люди на должности были заменены административными позициями, предпочтение стали отдавать ответам-штампам, из текста исчез рассказ об истории административных взаимодействий. Как итог — бумага превратилась в документ, и, по мнению Г. Орловой, это охраняется и по настоящее время.

Месту и роли паспорта в формировании советского общества в 1930-е годы посвящена статья Альберта Байбурина (Европейский университет, Санкт-Петербург). Автор, анализируя предпосылки введения паспортной системы в СССР в 1932 году и ее влияние на советское общество, высказывает мнение о том, что возникновение и функционирование идентификационных документов связано с недоверием к человеку, с презумпцией его ненадежности, точнее — недостоверности представляемых им сведений о себе. В этой связи надо отметить, что

сокрытие персональных данных было всегда, и в первую очередь оно порождено стремлением к безопасности. Достаточно обратить внимание на феномен тайного имени, имевший широкое распространение в прошлом и сохраняющийся в ряде случаев в настоящем. Другое дело, что в социальных практиках прошлого функцию удостоверения личности выполняла община в широком смысле этого слова, объединявшая абсолютное большинство людей. Разрушение общины либо выход из нее отдельных ее членов обусловил необходимость разработки новых технологий и соответствующих им форм удостоверения личности. Постепенно в этих целях стали использоваться документальные технологии, при этом наиболее распространенной формой удостоверения личности выступал паспорт. По мнению А. Байбурина, в СССР паспорт был призван быть инструментом, который «проявит» человека, сделает его видимым и полностью зависимым от власти. Посредством введения паспортной системы власть пыталась провести селекцию населения в целях выделения тех, кто достоин жить в крупных городах и «режимных» (паспортных) зонах, от всех остальных, прежде всего от сельского населения, не имеющего права покидать место жительства без особого на то разрешения со стороны местных властей [1, с. 78]. Автор считает, что из символа несвободы паспорт после введения паспортной системы в 1932 году превратился в привилегию ограниченного числа лиц, что привело к резкому повышению его статуса. Паспорт стал своеобразным «двойником» человека. Введение паспортной системы автор связывает с усилением авторитаризма, а применительно к 1930-м годам, — тоталитаризма. Иными словами, автор исследования делает акцент на «темной стороне паспорта и паспортной системы». Если паспорт — инструмент тоталитаризма, исчезнет ли он в ходе демократизации общества? Представляется, что не исчезнет, но совершенно по другим причинам, связанным с тем, что расширение прав и свобод граждан невозможно без усиления их ответственности перед обществом, что актуализирует задачу идентификации личности. В силу этого сама природа паспорта связана с социальными информационными технологиями, которые на практике могут использоваться властью в различных дискурсивных практиках.

Социальным эффектам фальсификации документов посвящена статья Елены Васильевой (Фонд «Общественное мнение», Москва). Автор отмечает, что главной социальной функцией документа является предоставление, прежде всего, значимой и достоверной информации. Именно поэтому роль документа резко возрастает в условиях современных социальных взаимодействий, специфика которых заключается в том, что они становятся все более абстрактными и неопределенными, «растянутыми» во времени и пространстве.

В этой ситуации существенно возрастает значимость документов, растет доверие к ним как источникам сведений о тех или иных контрагентах (банк, больница, вуз, работодатель) и об условиях взаимодействия с ними. Е. Васильева высказывает гипотезу о том, что, участвуя

в социальных взаимодействиях, связанных с риском, документы способствуют производству доверия, позволяя восполнить его дефицит [1, с. 106]. Автор отмечает, что документы вносят вклад в обеспечение связанности, согласованности социального мира в целом. Они выступают не только как нейтральные носители информации, но и как нечто большее, а именно, как ресурс конструирования и регулирования социального пространства.

Анализируя постсоветское общество, для которого характерен острый дефицит доверия к власти, Е. Васильева очерчивает достаточно противоречивую ситуацию российской «документности». С одной стороны, отмечает автор, растет доверие к документам. Без них часто невозможно осуществить даже простейшие действия, например оформить читательский билет, не говоря уже о более сложных (к примеру, зарегистрировать право собственности на недвижимость). С другой стороны, оформление документов воспринимается россиянами как мучительный и лишенный прозрачного смысла процесс. При этом в обществе до сих пор сохраняется мифологическое отношение к документу, связанное с верой в его могущество и значимость, а также в порочность чиновников и их враждебность по отношению к «соискателю» документа. Результатом этих противоречий, по мнению автора, становится стремление получить документ в обход положенных процедур, то есть, по сути, их фальсифицировать [1, с. 115—117]. В ходе проведенного Е. Васильевой исследования выяснилось, что, по мнению большинства респондентов (71 %), такой способ получения документов — распространенное явление. Более того, почти у половины респондентов (48 %) есть родственники или знакомые, которым приходилось прибегать к подобным приемам получения документов [1, с. 113]. Автор называет этот процесс «товаризацией» документов, которая ведет к формированию «рынка», прежде всего личных документов, что противоречит природе документа как таковой, поскольку документ не имеет потребительной стоимости и не подлежит купле-продаже, как и события, подтверждаемые им.

Вопреки этому документы превращаются в своего рода «ценные бумаги», которые могут быть конвертированы в самые разные блага — чаще всего в права, статусы, новые возможности. Следствием этих процессов является выхолащивание феномена документа, потеря им социального смысла, что в свою очередь ведет к анонимизации людей, усугублению непрозрачности их биографий и социальных характеристик как друг для друга, так и для властных инстанций [1, с. 118]. Распространение фальсифицированных документов делает социальных агентов «непрозрачными», снижает базовый уровень доверия в обществе, стимулирует дезинтеграцию, размывает социальную идентичность и ослабляет контроль. При этом, подчеркивает автор, в современной России основным субъектом фальсификации, «симуляции» документов является именно государственный аппарат, который стимулирует снижение доверия к самому себе, что в свою очередь ведет к дальнейшему росту спроса на документы,

в том числе и на «черном рынке», и ухудшению ситуации.

Второй тематический раздел сборника открывает статья американских ученых Фрэнсиса Блоуин и Уильяма Розенберга (США, Мичиганский университет) «Споры вокруг архивов, споры вокруг источников»². Статья посвящена проблеме интерпретации архивных документов, вовлекаемых в исторические исследования. Авторы отмечают, что столкнулись с этой проблемой в первой половине 1990-х годов в ходе подготовки в Национальном музее авиации и космонавтики Смитсоновского института в Вашингтоне выставки, посвященной «Эноле Гей» — самолету, сбросившему атомную бомбу на Хиросиму. Организаторы выставки планировали сбалансированно представить имеющийся материал, включая свидетельства о катастрофических последствиях бомбардировки для гражданского населения Японии, однако натолкнулись на крайне жесткое противостояние со стороны официальных властей. Двадцать четыре конгрессмена США выразили «беспокойство и озабоченность» тем, что устроители выставки намерены представить Японию «скорее невинной жертвой, нежели безжалостным агрессором» [1, с. 125]. Более того, позже при участии Ассоциации ВВС США, был создан новый цифровой архив «Энолы Гей» (www.afa.org/media/enolagay) с целью обеспечить адекватное отражение «подлинной» истории [1, с. 126—127]. По мнению авторов рассматриваемой статьи, полемика в связи с этим самолетом показала, что сами исторические артефакты, а заодно и их хранилища, могут выступать в качестве объектов острых дискуссий и что историческая «нейтральность» архивов и архивистов — не более чем миф.

Отсюда возникает новая проблема, связанная с «прочтением» узора архивной ткани, состоящей из идеологических узелков и лакун. Соответственно способность историка критически читать документы как «вдоль», так и «поперек» «волокон архивной ткани» открывает возможность альтернативных интерпретаций и нарративов. Таким образом, архивы, по мнению авторов, являются не только культурным пространством, где оспариваются значения исторических источников, но и пространством институциональным, где оспариваемые представления о прошлом зависят от тех способов, какими смысл источников был скрыт, затемнен или, что еще важнее, навязан архивными практиками и установками [1, с. 130].

Способность архивов выступать в качестве «агентов» и даже «авторов» своих источников ведет, по мнению авторов, к возникновению нового явления — так называемых «архивов идентичности», нацеленных на формирование своей собственной системы авторитетов и источников. Они организуются с учетом новых представлений о том, что важно с исторической точки зрения для репрезентации личности с учетом ее пола, этнической и расовой принадлежности, гражданства. Такими стали цифровой архив «Энолы Гей», Архив женской истории в Рэдклиффе, Архив лесбиянок и геев в Сан-Франциско и т. д.

² Сокращенный вариант одной из глав книги этих авторов [3].

Характерная особенность «архивов идентичности», отличающая их от традиционных архивов, заключается, по мнению авторов статьи, в бессистемности авторитетных концепций, структурирующих собрания таких архивов, и в явном изменении роли архива как формально нейтрального получателя документации, производимой институтами, отдельными лицами или агентствами, перед которыми несет ответственность [1, с. 145].

Подводя итоги, Ф. Блоуин и У. Розенберг подчеркивают, что проблема архивов, как и проблема «авторов», не нова и имеет длительную историю, уходящую корнями в Средневековье. Документы, возможно, и «говорят сами за себя», но в создании этого «голоса» активно участвуют архивисты, поскольку репрезентации исторической правды постоянно вращаются вокруг заданных архивных категорий отбора и хранения [1, с. 149—150].

В основе статьи Бориса Степанова (РГГУ, Москва) «Теория документа и культура истории» — социологический опрос, проведенный среди ведущих российских историков по поводу современных представлений о природе исторического документа, его «правде» в позитивистской трактовке Л. Ранке, специфике отношения историка к документу и его доказательной силе.

Исследуя место и роль документа в современных исторических исследованиях, автор приходит к выводу, что история наряду с документоведением, архивоведением, библиографией, информатикой и пр. должна быть осмыслена как одна из наук, занимающихся специализированной рефлексией о документе, а не просто как наука о прошлом [1, с. 185]. Анализируя состояние современных исследований документа, автор с сожалением констатирует трудность выведения рефлексии о документе за узковедомственные рамки архивоведения и делопроизводства, зафиксированные государственными стандартами, и в то же время пишет о ее сближении с социологией, антропологией и историей культуры. Б. Степанов рассматривает также неудачную попытку универсализации понятия «документ», предпринятую в рамках построения «общей теории документа» (Е.А. Плешкевич, Г.Н. Швецова-Водка).

Переходя от изучения документа вообще к исследованию исторического документа, Б. Степанов сужает дисциплинарное пространство, предлагая решать этот вопрос таким историческим субдисциплинам, как источниковедение, архивоведение и археография. Во взаимодействии этих дисциплин, отмечает автор, и формируется современное представление о документе, или историческом источнике, как объекте изучения историков [1, с. 189]. Понятие «документ» здесь употребляется в качестве синонима «исторического источника». Как представляется, позиция Б. Степанова достаточно противоречива: с одной стороны, предлагается расширить рамки рефлексии по поводу документа как такового, а с другой — свести все многообразие рефлексий по поводу исторического источника — источника информации о прошлом — к рефлексии о документе, как материализованном феномене достоверности. Неравнозначность этих рефлексий представляется нам очевидной.

Проблеме использования феномена документа и документальности в литературе посвящено исследование Ирины Каспэ. Литературная теория использует понятие «документ» в первую очередь и почти исключительно для того, чтобы очертить рамки своего предмета. Под документом обычно подразумевается «фактуальное повествование», являющееся нарративной противоположностью литературного вымысла («фикционального текста», «fiction»). В дополнение к этому в стилистическом плане текст документа отличается повышенной структурированностью, поскольку формализован. Резюмируя сложившиеся подходы, можно отметить, что отличия литературы от документа преимущественно касаются содержательных и структурных аспектов. Однако автор полагает, что использование коммуникативного подхода позволяет расширить наши представления о данной проблеме. Статус документа и статус литературы, отмечает И. Каспэ, подразумевают разные модусы прочтения, отсылают к разным навыкам рецепции и, главное, задают разные режимы читательской (и авторской) идентичности [1, с. 270]. Наложение разных режимов восприятия, по мнению автора, создает возможности взаимодействия литературности и документности. Литературные тексты заимствуют существующие в культуре конфигурации документов и даже пытаются их имитировать, наконец, сами приобретают статус документов в глазах своих читателей, или же в них приводятся размышления о документе и создается его мифология, документы используются в качестве «рабочего материала» [1, с. 270].

На примере нескольких современных литературных событий автор анализирует использование документности в литературе. К одному из таких событий И. Каспэ относит «наивное письмо», определяемое также метафорой «человеческий документ». По мнению социологов и лингвистов, «наивное письмо» — это вид речевой деятельности, свойственный простым людям. Оно не поддается однозначной идентификации и является «отклонением от нормы» с точки зрения представлений о необходимости языковой компетенции социальных субъектов. Петр Палиевский в 1970-х годах определял «человеческий документ» как «невольное искусство», «непреднамеренно всплывшие на поверхность “письмена”, не имевшие художественной цели», в конечном счете — как «литературу без писателя». В архивоведении термин «человеческий документ» использовался отдельными учеными в контексте устной истории, связанной с инициативной записью воспоминаний, сообщений и т.п. с помощью обычного письма или технических средств [4].

Обращаясь к метафоре «человеческий документ», получившей распространение в отечественной литературной критике с 2000-х годов, И. Каспэ предполагает радикальное отождествление литературности и документности. Причины этого она видит в том, что иллюзия «народного гласа», «голоса реальности или жизненной правды», свойственная «человеческим документам» и достигнутая стилистическими средствами, порождает у читателя иллюзию их достоверности и, таким образом, документальности литературы.

Другим литературным событием выступает «большая литература», обладающая документностью и тем самым противостоящая «постмодернистскому недоверию» к любому тексту, что в свою очередь было вызвано постепенной утратой документами удостоверяющих функций в связи с принципиальной невозможностью аналитического различия фальсификата и документа и превращением последнего в симулякр. По мнению И. Каспэ, эффект документности в «большой литературе» достигается за счет умения автора работать с архивными материалами и использовать документ в качестве надежного фундамента для литературного воображения и благодаря активному осмыслению проблемы исторической памяти [1, с. 281]. «Опираясь на документ», развиваются особые типы литературного повествования, определенные Линдой Хатчин как «историографическая метапроза»; это свидетельствует о шаткости границ между историческим и литературным.

Проанализировав метафору человеческого документа в романе Михаила Шишкина «Венерин волос» и документную специфику «большой литературы» на примере романа Александра Терехова «Каменный мост», И. Каспэ приходит к выводу, что в данных произведениях авторы идеализируют документ, присваивая ему именно те характеристики, нехватку которых обнаруживают.

К сожалению, жесткие границы жанра рецензии не позволяют охватить все статьи, опубликованные в сбор-

нике. Назовем авторов, принявших участие в создании сборника, но не попавших в наш обзор. Это Святослав Каспэ, Елена Рождественская, Олег Аронсон, Нина Со-сна, Елена Михайлик, Илья Кукулин, Ольга Бредникова и Оксана Запоржец, Михаил и Екатерина Шульманы, Виктор Вахштейн, Александр Филиппов.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что проведенное исследование раскрывает новые аспекты феномена «документ», прежде всего в контексте его социокультурного статуса. Поэтому предложенный Ириной Каспэ термин «документность» выглядит методологически оправданным, однако его окончательная «научная прописка» возможна лишь по результатам дальнейших теоретико-методологических исследований и построений.

Список литературы

1. Статус документа: Окончательная бумажка или отчужденное свидетельство? / сб. ст.; под ред. И.М. Каспэ — М.: Новое литературное обозрение, 2013.
2. *Levy D.M. Scrolling Forward: Making Sense of Documents in the Digital Age.* — N.Y.: Arcade Publishing, 2003.
3. *Blouin F., Rosenberg W. Processing the past: Contesting Authority in History and Archives.* — N.Y.: Oxford University Press, 2010.
4. *Хубова Д.Н. Устная история и архивы: зарубежные концепции и опыт: дис. ... канд. ист. наук.* — М., 1992.

УДК 711 (470)
ББК Н0В121

В.А. МОИСЕЕНКО

СТОЛИЦА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ГЛАЗАМИ АМЕРИКАНСКОГО БРОДЯГИ

Рассмотрен ряд вопросов, связанных с описанием Санкт-Петербурга конца XIX века американцем Джозайей Флинтом в его книгах «Странствия с бродягами» и «Моя жизнь». Выявлены причины относительно малой популярности книг этого автора.

Ключевые слова: Джозайя Флинт, «Странствия с бродягами», «Моя жизнь», Санкт-Петербург, Вяземская лавра.

Североамериканец Джозайя Флинт (1869—1907) родился в штате Висконсин, на землях, расположенных к юго-западу от Великих озер. Его родители принадлежали к консервативной протестантской секте меннонитов, известной своими строгими моральными нормами. Но как ни странно, отпрыски подобных благочестивых семейств фигурировали на страницах тогдашних криминальных хроник едва ли не чаще, чем их менее знакомые с апостольскими наставлениями сверстники. Сам Джозайя, бросивший колледж, побывавший в тюрьме, бежавший из исправительной школы и успевший получить воровскую кличку «Чикагская Сигарета», некоторое время бродяж-

ничал по своей собственной стране, а затем, переплыв в должности корабельного кочегара Атлантический океан, продолжил скитания по Западной Европе — Германии, Австро-Венгрии, Норвегии, Англии, Швейцарии, Италии. Недостаточный, мягко скажем, образовательный ценз не мешал ему заводить знакомства со всемирно известными деятелями культуры этих стран — вплоть до Генрика Ибсена.

Но еще более невероятным выглядит его личное десятидневное общение с графом Львом Николаевичем Толстым в Ясной Поляне. Формальным поводом к посещению России для Флинта стало открытие в Нижнем Новгороде